

В.П.Желиховская

Странный случай после грозы

От публикатора

Рассказ В.П.Желиховской «Странный случай после грозы» был впервые опубликован в 1885 г. в журнале «Литературные приложения к газете “Гражданин”» (№12). Затем под названием «Проклята» («Accursed») это произведение в переводе Е.П.Блаватской появилось в журнале «Lucifer» (1888, т. III, октябрь, ноябрь, декабрь). В конце публикации Елена Петровна сообщила: «Эта история основана на совершенно истинном факте и биографии некогда живого человека. Это было неоднократно рассказано семье писательницы свидетельницей, покойной княгиней W***. Изменены только имена и названия местностей».

См. также заметку, написанную Е.П.Блаватской по поводу этого рассказа: «Обращаясь к анонсу и даже к обзору (!) нашего декабрьского номера “Люцифера”, “The Saturday Review” в выпуске от 22 декабря 1888 года пишет следующее со ссылкой на переведенный с русского языка рассказ “Проклята”: “...Наступила гроза, и крест был сбит молнией... Эта же вспышка сбила все буквы (на имени умершей женщины), кроме первых двух на “Аксения” (“Asenia”), первых двух и четвертой на “Куприяновна” (“Cuprianovna”) и первых трех на “Седминская” (“Sedminska”), которые составили слово “Проклята” (“Accursed”). “Это совпадение, – пишет автор, Вера Желиховская, – было страннее всего!” “Но еще страннее, – замечает проницательный критик в “The Saturday Review”, – что молния должна была говорить по-английски, когда несуществующая грешница являлась какой-то полячкой”.

И это замечание, мы можем сказать, в свою очередь, еще более странно. Если бы история была первоначально написана на английском языке, это могло бы потребовать некоторого объяснения в отношении такой лингвистической способности со стороны молнии. Поскольку история, однако, впервые появилась на русском языке в санкт-петербургском “Гражданине”, откуда была переведена нами с разрешения автора, она не требует чрезмерного количества обычной проницательности, чтобы догадаться, что имя оказалось измененным, чтобы быть адаптированным к английскому слову “проклята”. Если бы мы написали слово “proklyata” (“accursed” по-русски), то “совпадение” не имело бы никакого смысла. Эта история – полувывысел, как в оригинале, так и в переводе, но она основана на истинном и историческом факте, как объяснялось в конце. Но поскольку настоящие имена должны были быть сокрыты, то использовались любые имена, чтобы изложить странный и по сей день необъяснимый факт, который стал с момента его появления одной из выдающихся легенд страны, где это произошло¹.

В.П.Желиховская в письме к А.С.Суворину² от 19 октября 1883 г. предлагала опубликовать рассказ в газете «Новое время»: «На первый раз посылаю рассказ, слышанный мной от родственника моего, человека не мистика и высокой правдивости, убитого... или правильнее: умершего от ран в Кавказск[ой] армии, под Карсом. Вдова его позволила мне описать этот рассказ, но не позволила ни называть его, ни – всеконечно – называть фамилий действующих в нем лиц. <...> Посылаю его заказной бандеролью. Заглавие его: “Странный случай после грозы”»³. Рассказ в «Новом времени» напечатан не был.

I

Бывают в жизни *странные* случаи, и один из них пришелся на мою долю. Расскажу его без прикрас, в которых он, впрочем, и не нуждается. В 1854 г. полк наш, при общем передвижении войск, временно стоял в бедном местечке царства Польского. Нехороший это был год во всей России, но в тех бедных местах пришелся он тяжелей, чем где бы то ни было. Кроме военных бедствий и горестей по всему Западному краю сильно свирепствовала холера, а неурожай довершал ее дело и способствовал развитию эпидемии. Мало того, что голод подготавливал ей жертв, но он и сам по себе уносил не менее жертв, чем холера. Страшно и жалко было смотреть, как несчастный народ мёр не столько от болезни, как от беспомощной нищеты. Весною и дня не проходило, чтобы на обнаженных еще полях не подымали замертво детей и женщин, выползавших из хат в надежде найти какой-нибудь подножный корм, корни или молодую траву. Не знаю, очень ли был занят румяный ксендз, которого наши офицеры чаще видывали «в палате» за гостеприимным столом графини Ляхотинской, местной магнатки, чем в грязно-песчаных

Рассказ публикуется по: Литературные приложения к газете «Гражданин», 1885, №12.

Публикация, подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.

¹ Lucifer, 1889, т. III, январь. С. 359.

Перевод с английского З.А.Чикаренко (Днепр).

² Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – журналист, театральный критик, драматург, издатель газеты «Новое время» (с 1876 г.) и журнала «Исторический вестник».

³ Желиховская В.П. Письма // http://art-roerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/V.P.Jelihovski_Letters9.pdf

улицах местечка; но что касается до нашего русского священника, в доме которого мы квартировали, то он, положительно, не попевал с требами⁴: от умиравших шел к больным, от больных на похороны. Это был очень еще молодой человек, не закаленный, как видно, суровой школой бурсы до равнодушия к страданиям своих ближних; он очень тяготился бедствиями своей беспомощной паствы и рад был бы все для нее сделать, да не многое мог он. Он делился последним с бедняками; молоденькая жена не раз корила его во всеуслышание в безумии и расточительности и плакалась на то, что если сами они заболеют – так нечем будет доктору заплатить и лекарства купить; но он не унимался.

– Ничего, – говаривал он, добродушно поглядывая на своих квартирантов, – полковая аптека в долг полечит, а у старшего фельдшера недавно мятных капель занимал; как у меня все вышли, так хорошо познакомился: авось не даст умереть без помощи, если наш лекарь по уезду занят будет.

– Тебе вот все шутки! – укоряла попадья. – Из чего нам разоряться, когда вон природные их паны и в ус не дуют? Веселятся себе и знать не хотят ничего!.. А они побогаче нас тобой. Могли бы, себя не обижая, холопов своих голодом не морить.

– А неужели они так-таки ничем не помогают своим крестьянам? – любопытствовал я раз, заслышав в отворенное окно препирательство попадья с попом.

– Мало чем! – неохотно отозвался священник. – Своим-то, пожалуй, иногда помогают, но о православном народе совсем заботы у них нет.

– Да как же так? Ведь графиня, слышно, сама из русской православной семьи?..

– Какая она православная!.. Чай и креститься-то справа налево позабыла! – вздохнул священник и поспешил удалиться в свою комнату, вероятно, избегая греха осуждения.

Но жена его была не такая строгая и охотно вступила в беседу о старой графине, которую крепко недолюбливала и, как видно, не без поводов. С ее слов, а впоследствии и по личным наблюдениям, я не мог не убедиться, Ляхотинская и не хорошая, и совсем не православная женщина. Вероятно, она исполчилась в семье мужа; а может быть, ее сердце больше само по себе лежало к католической вере, как у некоторых наших больших барынь, более знакомых с римским собором св. Петра, чем со своим приходским погостом. Да это бы еще ничего: это дело ее совести! Но что совсем уж было дурно – это, что она вообще была бессердечная женщина, жестокая к низшим, несправедливая и недоброжелательная ко всему свету. Близкие ее все страдали от ее деспотизма; родная дочь была очень несчастна потому, что вышла замуж по принуждению за старого магната Чертеринского, уже заевшего в свой век двух жен. Но никому так горько не приходилось, как ее крепостным! Добрый хозяин на собак жалостливее, чем графиня была к своим крестьянам и дворовым. Не говоря о взысканиях, о жестоких наказаниях, которым подвергались несчастные, она, а за ней и ее управитель, без зазрения совести морили людей работой, ссылали их, перепродавали, обращались с ними даже не как с животными, а как с каким-нибудь бесчувственным матерьялом. Нельзя передать множества печальных историй, ходивших в околотке о зверских отношениях Ляхотинской и в особенности управляющих, экономов и разной челяди, почему-либо входившей в ее милость, к подвластным им людям, особенно к православным крестьянам! Они буквально трепетали при имени ее или пана Мацевича, ее главноуправляющего. Я видел сам, какими горючими слезами заливались несчастные молодые женщины, которых набирали в кандидатки в кормилицы для ожидавшегося внука графини. Одна бойкая, молодая бабенка, не особенно привязанная к семье своей, сама выражала прежде желание поступить в кормилицы; ездила даже заявить об этом в город. Но когда и ее нарядили в число избранных идти «до паньского паляцу»⁵ на благоусмотрение докторов, съехавшихся к родинам молодой панни Чертеринской, она ударилась в рев, и насилу свекор чуть не за косы вытащил ее на повозку, отправляющуюся в Ружано-Ляссский замок.

– Чего ты, дура, – спрашивали ее соседки, – кобенишься? Сама ж хотела!

⁴ Требы – священнодействия и молитвословия, совершаемые священником по нужде (*церк.-слав.* «требованию») отдельных лиц. К ним относятся таинства (крещение, исповедь, причастие на дому, елеосвящение, венчание), церковные обряды (отпевание, погребение, освящение квартиры, дома, колодца, садового участка и пр.) и другие молитвенные чины и последования, имеющие частный характер.

⁵ к панскому дворцу (*укр.*).

– Я хотела в наймички идти на жалованье, а не даром в кабалу поступать, на мучения! – отвечала, рыдая, бойкая бабенка.

Слезы ее, впрочем, оказались напрасны: выбрали не ее, а молоденькую женщину по первому ребенку из достаточно православной семьи. Была она вольной, чуть ли не из городских мешанок и вышла за крепостного по любви, не чуя бед, на которые волею шла. Бедняжка, оторванная от любимого мужа и ребенка, убивалась и плакала так, что, не смотря на здоровое ее телосложение, доктора испугались и заявили, что при таких условиях молоко ее будет ядом новорожденному. Они предлагали выбрать другую, более спокойную; но графиня заупрямилась. Как? Чтобы эта холопка смела идти против ее графского желания?!. Вздор! Опомнись. Обживется. Но холопка не обжилась. Раз она как-то вырвалась из-под надзора и бежала... Ее нашли в избе мужа, силой вырвали у нее шестинедельного сына и привезли почти без памяти обратно в барские хоромы.

– Отпустите ее! Она все равно не годна в кормилицы. У нее будет нервная горячка! – решили доктора.

– Пустяки! Я из нее дурь выбью!.. Я ее, хамку, переупрямлю! – решила графиня.

Чтоб вернее переупрямить, она приказала тотчас же свезти ее ребенка в другую деревню, отдать его на вскормление в бедную семью, обремененную своими ребятишками; а мужа ее, немедля, сдать не в очередь в солдаты...

Мудрые распоряжения графини, однако, не принесли пользы потому славного рода Чертеринских: во-первых, предназначавшаяся ему кормилица действительно сильно захворала, а во-вторых, он сам не заблагорассудил даже порадовать родительницу первым криком или взглянуть на мир Божий, скончавшись в самую минуту своего рождения. И так кормилица оказалась лишней и ее отпустили, как только она достаточно оправилась, чтоб стоять на ногах. Сама не своя от радости, потеряв всякое сознание о времени, истекшем пока она металась в жару и бреде, молодая женщина прибежала в свою хату и, задыхаясь, упала в сенцах на лавку, дрожа не то от слабости, не то от чувства безумного счастья, охватившего ее при мысли, что она сейчас увидит мужа, сейчас прижмет к груди своего сына!..

– Павле! – звала она. – Павле, коханный мий⁶!.. Где же ты, любый⁷?.. Где же наш хлопец⁸?.. Идишь же до мене... И где ж вы сховались⁹?..

Но на страстный зов бедняги ни муж, угнанный далеко с забритым лбом в толпе других новобранцев, ни крошечный ребенок, уже неделю покоившийся под двумя аршинами¹⁰ земли на чужом погосте, не могли ей откликнуться!..

Вышли только старики, отец и мать ее мужа, и зарыдали над ней, как над покойницей...

И правы они были, потому что невестка их с этой минуты погибла! Она убежала из деревни в тот же день и с неделю неизвестно где пропадала. Видали ее мельком по дороге к той деревне, где сын ее был заморен; другие даже утверждали, что она бродила там на кладбище, вероятно, разыскивая бесследную могилку. Но через несколько дней ее самое подняли мертвой у боковой калитки в графский парк. Видно, она пролежала там всю осеннюю долгую ночь, потому что труп ее совсем заоченел: одна рука несчастной с окровавленными ногтями была запущена в разрытую ею землю, а другой, прижатой к груди под рубахой, она крепко сжимала нож, – кого-нибудь здесь поджидала с ним до последней минуты, когда смерть пришла избавить ее от преступления и от муки!.. Тут же ее и зарыли. Место было уединенное, господа сюда не заходили, и даже калитка та всегда была наглухо заперта.

Вскоре после это происшествия в помещичьих палатах начались пиры и веселье по случаю сговора и свадьбы графининой племянницы. Ляхотинская терпеть не могла уныния. Она сама никогда не падала духом и вокруг себя не терпела печальных и постных лиц. Едва поправилась дочь ее, она должна была, в угоду матери, делать вид, что смерть ребенка, в котором она, было, чаяла найти свое спасение и утешение, ее нимало не печалит и что она с удовольствием снова готова менять, по три раза на день, свои парижские туалеты и принимать деятельное участие в

⁶ любимый мой (укр.).

⁷ любимый (укр.).

⁸ мальчик (укр.).

⁹ спрятались (укр.).

¹⁰ Аршин – старорусская единица измерения длины, равная 0,71 м.

катаньях, пикниках и танцах. Ее кузина выходила замуж. Тем лучше! Законный предлог для веселья... Она, конечно, знала, что мать ее эту кузину совсем не любит; что она рада ее, русскую, за русского же «кацапа» отдать, лишь бы отделаться от нее, а считает только своей обязанностью отпраздновать свадьбу *своей* родственницы так, чтобы о ней знали и помнили в крае. Выходила девушка эта за одного из наших бывших товарищей, вышедшего в отставку до объявления войны, потому что он получил в этих же местах наследство – хорошее имение, которым некому было заняться. Весь полк любил Корзанова; но я к тому же еще был его однокашником и потому никак не мог не бывать на всех пирах по случаю свадьбы его, и поневоле должен был познакомиться с графиней Прасковьей Николаевной Ляхотинской, несмотря на мою заочную к ней антипатию. Антипатия эта не только не уменьшилась, но значительно возросла из-за ближайшего знакомства.

Несмотря на прекрасное воспитание, приветливость, даже нечто заискивающее в обращении с некоторыми, эта женщина внушала почти всем неприязнь, близкую к отвращению. Корзанов мне признавался сам, что он не только ее не любит, но положительно боится... И в самом деле, несмотря на медовые речи и сладкие улыбки, в выражении лица этой высокой, черноволосой и смуглой женщины было что-то такое жесткое, а в черных маленьких глазках иногда зажигался такой дикий огонек, суровый и вместе беспокойный, что она отталкивала и даже пугала многих людей, не отличавшихся крепкими нервами.

Правда ли, нет ли, – о ее прошлой жизни ходили нехорошие слухи; обвинения гораздо серьезные, чем довольно обычная в то время жестокость к крестьянам, тяготели над нею, и я думаю, что неприятное, злое и в то же время словно испуганное выражение ее глаз, лицемерие голоса ее и обращения, бросавшиеся в глаза всякому с первого взгляда, много были повинны в утверждении этих слухов. Защитников у нее находилось мало. Все мы знали, что все это шляхетство, которое пило, ело и до упаду веселилось весь круглый год в богатых залах Ружаного-Ляса, вполне уверено в том, что владелица его отняла у брата своего отцовское наследство [с] помощью подложного завещания; сгубила целую семью своего мужа, с левой руки, сослав их мать на скотный двор, а взросшую в холе, признанную всеми *паненкой*, дочь его выдав замуж за мужика. Даже двоих сыновей его она не позволила старому графу отпустить на волю: один угодил в арестантские роты, другой, за грубость, в Сибирь, на поселение. Мало этого: ближайшие соседи были убеждены, что самая смерть графа произошла *неспроста*... Поговорили шепотом, что об участии ее сиятельства в скоропостижной кончине супруга кое-что знает и пан Мацевич и румяный ксендз, первый друг, советник и поверенный графини. Недаром они оба пользовались такими льготами и милостями ее, что мало было в околотке помещиков, которые бы не завидовали «цесаржскому¹¹ житью» их обоих, ксендза и управителя. Как бы то ни было, все эти темные дела были шиты и крыты, графиня продолжала царить, располагая в околотке и даже в губернии множеством благостынь, посредством дружбы со всеми местными властями и громадного влияния, которое она и зять ее имели на выборы дворянства. Влияние ее так было всеми признано, что многие, алкавшие земных благ, не только молчали о всех известных случаях, но горячо опровергали общее мнение о жестокости графини к своим крестьянам и в особенности усердно старались прославлять ее позднейшие заслуги по части общественной благотворительности.

Что касается лично меня, необходимость бывать у этой польской магнатки российского происхождения меня чрезвычайно тяготила, и я был рад-радешенек, когда окончились свадебные празднества и молодые уехали в свое имение. До этого желанного происшествия, как бы нарочно затем, чтоб неприятный образ старухи еще прочнее запечатлелся в моей памяти, случилось мне быть немым свидетелем весьма тяжелой сцены.

Накануне свадьбы графиня потребовала, чтобы «девичник» невесты и «мальчишник» жениха справлялись одновременно, только в разных концах ее громадного дома. Как всегда, никто не решился идти против ее желания; да этому и не было нужды особенной, – к чему же напрашиваться на неприятности в последний день искуса влюбленной пары? Хотя Корзанов и его невеста с большим удовольствием провели бы этот день тихо, но покорились без сопротивления. С восьми часов вечера в больших приемных комнатах началась музыка, пение и всевозможные

¹¹ императорскому (*пол. cesarz*).

petit jeux¹² девиц и дам, которым, по собственному их признанию, было довольно скучно без общества прекрасной половины человечества, а в большом флигеле, предназначенном для гостей, тоже освещенном а giorno¹³, шел гораздо более оживленный мужской кутеж. Дамы давно разошлись почивать, когда у нас все еще стоял дым коромыслом. Перед зарей, утомленный шумом и винными парами, я вышел вдвоем с товарищем на балкон выкурить на чистом воздухе сигару. Несмотря на позднюю осень, почти зиму, погода стояла хорошая и снегу еще не было. Товарищу моему, однако, показалось холодно и он скоро вернулся в комнаты; я же был не зябок и с удовольствием вдыхал в себя слегка морозный предутренний воздух, любуясь тонкими очертаниями обнаженных деревьев парка на светлом небе, едва охваченном на востоке желто-алой полосой. Весь главный корпус дома тянулся от меня направо; все в нем было темно и тихо, только в одном окне флигеля, почти под моим балконом, свет еле-еле мерцал, будто бы там теплилась лампа. Я сообразил, что это окно молодой хозяйки дома, и даже подумал, что ей плохо, верно, спится от шума нашей пирушки над самой головой ее... Пора бы и супругу ее, да и всем нам, на покой!.. Едва мысль эта мелькнула у меня в голове, как я услышал стук оконной задвижки и в ту же секунду черная тень, которой прежде я не заметил, зашевелилась внизу, под деревьями, и выступила на дорожку, ближе к дому.

«Эге? – подумал я. – Что это? Воры или нечто эротическое?..» Убежденный, что скорей последнее, я притаился, не желая мешать свиданию, как я предполагал, двух любящихся. Но каково же было мое изумление, когда свет в окне графини Чертеринской потух, оно распахнулось и я явственно увидел ее и услышал ее голос.

– Ваня! Ты?.. – тихо и быстро спрашивала она. – Ну, что? Дали матери твоей денег?.. Я тебя давно жду! Боялась, что в доме проснутся!

Тень подкралась, оглядываясь боязливо, под самое окно.

– Ни, пани! – отвечал печальный голос мальчика. – Ниц¹⁴ не дали маме. Вчорысь мы с ней ниц не ядлы¹⁵...

– Как?! Ничего не ели? Не может быть, Ваня! Я просила за вас ксендза! Мама ему много денег дает на бедных... Он обещал мне помочь вам, и вчера говорил, что уже отдал деньги матери твоей и тебе полушубок...

– Ниц не дал! – повторил мальчик. – Пане ксендз сказал, что у него много своих бедных есть, чтобы мы шли к попу, к русскому, к нашему. А он что даст? Он сам без хлеба: все роздал!.. Мама и не пошла.

– Ах, Боже мой! Зачем же ты сюда не пришел? – шептала, чуть не плача, молодая пани.

– На цо¹⁶? – покачал головой ее собеседник. – Гайдук Вицентий крепко бьется... Я лучше зорьки дождался, по вашему приказу.

– Да! да! это хорошо! – как-то беспомощно залепетала сиятельная магнатка. – В другое время я бы не могла говорить с тобой и... Постой! Ведь ты не ел?.. Я сейчас! Я для вас спрятала... Сейчас!.. Я достала!..

И она исчезла на минуту и сейчас же снова вся высунулась в окно, кутаясь в свою тысячную шаль, вся дрожа и протягивая нищему мальчику узел с *наворованными* для него запасами.

– Я, вот, видишь, больше не могу: денег нет у меня, Ваня! Нет! Муж мне не дает, ты так и скажи матери, чтоб она не думала, что я не хочу, что я забыла ее, не жалею!.. Из своих вещей – я бы рада! да боюсь! Тогда я Марьянке вашей кольцо отдала, а она за него сколько натерпелась горя после... Так уж я не хочу... А вот я у своей Зоськи взяла, – она мне дала свой платок и юбку теплую... Ничего, я ей после отдам, когда-нибудь... А ты маме от меня отдай. Слышишь? И еще тут хлеб сладкий, хороший! И вино для матери я из буфета взяла... оно ее согреет... А потом и тебе будет теплое платье, Ваня! Ты не думай: ксендз даст! Я ему опять скажу. Я маменьку попрошу ему приказать... Она велит, Ваня. Она вам поможет!.. А теперь иди себе, иди! чтоб еще

¹² игры с фантами (*фр.*).

¹³ как днем (*ит.*).

¹⁴ Ничего (*пол.*).

¹⁵ ничего не ели (*пол.*).

¹⁶ Почему (*пол.*).

опять не увидели тебя, да не побили. Прощай!.. Скажи маме, что я ее не забуду! Что я постараюсь... Может еще и денег ей пришлю, как буду уезжать отсюда на зиму...

Окно захлопнулось. Мальчик скрылся в тени деревьев. Заинтересованный, я быстро вошел в дом незамеченный пировавшей еще компанией, выскользнул в переднюю, где утомленные лакеи спали в растяжку, схватил свою шинель и фуражку и скорым шагом пустился наперерез мальчишке, которому больше некуда было пройти как в ворота парка, до которых со двора мне было гораздо ближе. Я не ошибся ни в расчете, ни в своих соображениях: я догнал его и расспросил. Бедняга так испугался меня сначала, что чуть не ударился бежать, бросив наземь свои пожитки. Насилу я его успокоил и мы пошли вместе, так как нам было по дороге и очень близко до от[ца] Василья, у которого я квартировал. Мальчик этот был пастух, сын чуть что не нищей вдовы, больной и бесприютной. Она когда-то была взята со своей дочерью Марьянкой в барскую дворню судомойкой. Дочь ее приглянулась барышне, в то время уж помолвленной; была взята ею в горничные, но в первый же год ее замужества умерла. Умирая, она умоляла молодую госпожу не оставлять ее матери, помогать ей в нужде и болезни. Чертеринская дала слово и, как видно, не забыла обещания. Но бедняжка! Миллионерка по матери и по мужу, она не могла располагать сотней рублей, которые обеспечили бы надолго Ваню с его матерью. Какое! она не имела рубля им на хлеб! Она, эта бедная, бесхарактерная, бесцветная кукла, менявшая в деревне по три туалета на день и после каждой кадрили по свежей паре парижских перчаток, которые ей почтительно преподносил гайдук на серебряном подносе, – она выпрашивала старую юбку у своей горничной для милостыни и потихоньку крадала вино и сладкий хлеб в буфете своей матери, чтобы спасти от голода православную нищую, обреченную на холод и голод жестокосердием ее матери и достойных ее клеветов-католиков!.. Приятное положение магнатки и миллионерки!..

«Хорошо, что эта безответная и безвольная жертва материнского и мужнина деспотизма не жилища на белом свете!» – подумал я. Для всех, имевших глаза, было очевидно, что хилая, чахоточная графиня Чертеринская долго не проживет, и, думаю, никто, из знавших ее жизнь близко, – не мог об этом печалиться. Вскоре после свадьбы Корзанова наш полк оставил эти места, и много лет не пришлось мне с ними встретиться и ничего ни слышать, ни даже вспоминать о графине Ляхотинской и ее окружающих.

II

Прошло много лет. После погрома Севастополя, после ужасов войны, потерь, слез и траура всей России, она имела уже время воспрянуть, стряхнуть печаль, забыть отчасти павшие жертвы и ожить к новой жизни, к новым надеждам, сознав, что эта война нам «не к смерти, а к славе». Реформа 1861 года окончательно преобразовала лицо земли российской, но ничем, кроме весьма редких недоразумений, не оправдываемые опасения, толки о *могущих* еще произойти беспорядках и недовольство закоренелых собственников-крепостников еще не совсем улеглись, когда мне пришлось прочесть в газетах известие о кровавой разделке крестьян в имении графини Ляхотинской с ее управляющим. Пан Мацевич, как видно, несмотря на новое положение дел, желал продолжить *quand même*¹⁷ свои деспотические варварства над бывшими крепостными и тяжело расплатился за свои преступления: крестьяне расправились с ним своим судом – убили его и в щепки разнесли даже дом, где он двадцать лет жил и мучил их под покровительством своей ясновельможной пани... Читая об этом, я подумал: «Где же была в это время она?.. Неужели не пыталась спасти от лютой смерти своего верного слугу?» Года еще через два я только узнал, тоже по газетам, что Ляхотинская уже несколько лет проживает за границей. Она уехала, не пожелав быть свидетельницей освобождения крестьян, которых побаивалась, – на что, правду сказать, имела достаточно причин. Это были мои личные заключения; иностранная же газета, напомнившая мне снова о существовании этой антипатичной мне особы, о причине ее экспатриации¹⁸ не говорила, а прославляла лишь добродетели и великодушные «польской графини-

¹⁷ несмотря ни на что (*фр.*).

¹⁸ отъезда за границу (*лат.* ex из, patria родина, отечество).

миллионерки», щедро оделявшей церкви и школы где-то в Канне¹⁹, в Меране²⁰ или другом подобном, излюбленном русскими барами месте... «Грехи замаливает! Поехала французоз кормить в возмездие за то, что своих крестьян голодом морила! – подумал я. – Уж не приняла ли она там католичества?» Нет! Графиня Ляхотинская не настолько верила в Господа Бога и в бессмертие своей души, чтобы, ради ее спасения, менять вероисповедание в ущерб благосостояния своего в сей брэнной жизни! Она не для этого слишком хорошо знала цену своих российских маэнтков²¹. Втайне она предпочитала католицизм, потому что ей приятно было иметь дело с благовоспитанными, медоточивыми ксендзами и патерами, расточавшими пред ней на отборном французском наречии красноречивые панегирики прелестей папских индульгенций, чем с неотесанным для гостиных бесед православным духовником; но вообще была совершенно равнодушна по отношению к религиозным вопросам. Так, по крайней мере, было до последних дней ее жизни, когда вдруг, словно спохватившись, она ударилась в ханжество. Об этом финале я узнал через несколько лет после смерти графини, встретившись за границею с ее родственником, Корзановым. Оригинальна и красива, если можно так выразиться, была эта встреча!.. Она запечатлелась в памяти моей по многим причинам и прежде всего как прекрасная яркая картинка.

То был чудный вечер на берегу Средиземного моря, в Гаэте²²: он, путешествуя по Европе en grande seigneur²³, проживал здесь по желанию своей жены и пятнадцатилетней дочки, их общего деспота; а я заехал в качестве праздношатающегося туриста, привлеченный не столько красотой местности, как военной известностью, в те времена еще громкой, укреплений, давших неаполитанской королеве наш русский Георгиевский крест²⁴.

Мы нечаянно сошлись на террасе отеля, увитой плющом, виноградом и ползучими розами, как и следует всякой добропорядочной итальянской третории²⁵, и сначала не узнали друг друга. Я скорее по голосу признал старого товарища, когда он обратился с русской речью к стройной, хорошенькой девушке, ходившей между кустов жасмина и тубероз у мраморного крыльца террасы. По обе стороны, полукругом, уходили живописные берега, усеянные увитыми зеленью строениями, по большей части бедными рыбацкими хижинами. Направо высились крепость и порт со множеством труб, мачт и парусов; из-за них виднелся какой-то монастырь, а ближе к нам – темные рощи померанцев, миндальных деревьев и лимонов с их блиставшим, как золото, плодами. Гроздья разноцветного винограда вились и цеплялись всюду, где только можно было зацепиться. Воздух, залитый светом и блеском, казалось, трепетал, полный благоуханий и красок. Перед нами ярко-голубая пелена моря переливалась, блистая золотом и бирюзью, сливаясь на горизонте с небом в ослепительной мгле, и в ней то и дело мелькали, то исчезая в сиянье, то вырезаясь отчетливо всеми парусами, маленькие лодочки рыбаков и перевозчиков... И в этой-то южной, волшебной обстановке сошлись два северянина и, как настоящие российские медведи, узнав, облапили друг друга, крепко обнявшись после чуть ли не двадцатилетней разлуки. Корзанов представил меня своей дочке; с женой его, еще красивой, хотя располневшей значительно дамой, мы сами возобновили знакомство. Она меня тотчас узнала, уверяя, что я *почти* не изменился... Я приятно улыбался, уверяя ее в том же относительно ее собственной особы, лицемерно стараясь скрыть невольную мнительность голоса покровом приятных улыбок...

¹⁹ Канн (Канны) – один из наиболее популярных и известных французских курортов на Лазурном берегу.

²⁰ Мерано (Меран) – курортный город в Северной Италии.

²¹ имений (*укр.* маєток).

²² Гаэта – город, гавань и крепость в 110 км к юго-востоку от Рима, в 70 км к северо-западу от Неаполя, на небольшом скалистом мысе, у Гаэтанского залива.

²³ вельможей (*фр.*).

²⁴ Мария София Амелия Баварская (1841–1925) – баварская принцесса из рода Виттельсбахов, в замужестве – королева-консорт Обеих Сицилий, супруга последнего короля Франциска II. В сентябре 1860 г., когда войска Гарибальди стали двигать на Неаполь, Франциск II решил покинуть город. В начале он планировал организовать сопротивление в Капуе. Однако после того, как и этот город был захвачен Гарибальди, король и Мария София укрылись в хорошо укрепленной прибрежной крепости Гаэта. Во время осады королева Мария София проявила невиданную стойкость, помогая раненым, пыталась сплотить защитников крепости. За это она стала известна как «Королева воинов» или «Героиня Гаэта». Российский император Александр II, восхищенный мужеством королевы, наградил ее орденом Святого Георгия 4-й степени.

²⁵ Траттория (*ит.* trattoria) – тип итальянского ресторана, с соответствующей кухней.

– Скажите, пожалуйста! – восклицала она, – ведь тот же что и был! Как есть прежний Иван Николаич!.. Только вот загорел, да бороною оброс. А то словно шестнадцать дней, а не шестнадцать лет прошло, как мы не видались. Вот где Бог привел встретиться!..

– Да, – сказал я. – Славный край!.. Тепла и свету много... Не то, что на севере. А впрочем, и в наших местах на климат грешно жаловаться... Что вы с тех пор не бывали у тетушки в имении?..

– Как же!.. А вы и не знаете? Ведь она и кузина Чертеринская, обе, умерли! – зашепила рассказывать Корзанова. – Ведь я наследовала все состояние тетушки Ляхотинской.

– В самом деле? Поздравляю и рад за вас. Так уж вы, наверное, проводите иногда лето в Ружано-Ляском дворце?

– О нет? Не дай Бог! Ружаный-Ляс продан... Там теперь какой-то завод или фабрика. Да мы и в мужнино имение почти никогда не ездили, потому что оно в соседстве...

– Да, брат, соседство неприятное! – перебил Корзанов свою жену. – И в век бы не заглянул туда, если б даже не посчастливилось продать этот ужасный дом!.. Ну, его совсем! Слава Богу, что он сгорел!

– Сгорел?! Этот громадный дворец?.. Возможно ли?.. Но ведь вы в нем потеряли целое состояние.

– И не жалею! Бог с ним! – начала, было, жена, но Корзанов прервал ее:

– Да если б ты знал, что там творилось! – вскричал он и вдруг запнулся, взглянув на свою дочь, всхлывшую на террасу с букетом в руках.

Я видел, как они переглянулись, сразу умолкнув, и понял, что надо переменить разговор.

– Посмотрите, какая прелесть! – издали кричала нам молоденькая девушка, указывая на море.

И в самом деле, там была прелестная картина. Большая неаполитанская лодка тихо скользила от порта к нашему берегу. Гребцы в красных фригийских колпаках с загорелыми, как бронза, лицами дружно ударяли в весла; другие двое-трое мужчин, лениво развалились по лавкам, а в середине лодки группой стояли веселые, смеющиеся женщины в белых покрывалах, кокетливо наброшенных на черно-синие волосы, на смуглый румянец щек. Звонко разносились по всему заливу их стройные голоса, щелканье кастаньет и звуки мандолины, на которой, лежа, брэнчал один из их спутников. Еще звонче перекачивался смех, когда полуголый мальчишка, свесившись с края лодки с гранатовой веткой в руке, вдруг брызнул водой в лица певец. Сверкнули бриллиантовые капли и белые зубы, смех слился с песней и целая пригоршня румяных персиков полетела в кудрявую голову мальчишки.

– Какая картина для этюда! – восхищалась меньшая Корзакова. – Ах! если б я умела рисовать!..

– Ах, ты мой артист! – любовно обняла ее мать. – Погоди: проведем эту зиму в Риме, будешь у хороших мастеров учиться, – нарисуешь!.. И лучше нарисуешь, цаца моя, милая!..

– У вас только одна дочь? – спросил я, невольно улыбаясь бесхитростной материнской нежности.

– Одна, Иван Николаич. Был сынок, да шести недель скончался. Ох! уж как я глаз по нем не выплакала?! Потом вот этой только и жила, – указала она на дочь. – Все в ней.

– Как не все! – рассмеялась балованная дочка. – Все добродетели, и все прелести, и все таланты. А не смотря на такие совершенства, меня обижают: обещают в Гаэту и в монастырь съездить, да и не едут!

– Поедем, душа моя! Поедем, когда хочешь! Не рано ли только?

– Где же рано? Ты знаешь, как здесь быстро темнеет. А солнце уже вон где!

– Ну, что ж! Поедем. Ты готов, Михаил Петрович?

– Я?.. Готов ли?.. Гм!.. А разве того... разве я вам нужен?..

– Ну! папочка уж начинает! И откуда у тебя лень берется?

– Не лень, Сашечка! Право, не лень, а вот видишь ли: нога у меня что-то как будто ломит опять... Право! Левая нога так, в коленке...

– Уж мне эти ревматизмы твои! – начала, было, Корзанова.

– Ну, что ж, мама! – прервала ее дочка. – Поедем одни. Папа вот с своим знакомым посидит, побеседует! Вы побудите с папой?

И на меня сверкнула улыбка, белые зубки и глазки, ничем не уступавшие блестящим взглядам итальянок. Я поспешил согласиться, – тем охотнее, что втайне жалел о перерыве разговора, которым был заинтересован.

– Вот и прекрасно! – восклицал Корзанов. – Мы побеседуем! Старину, молодость вспомним... А ты, Александра Владимировна, уже вели Авдотье нам чайку заварить да подать сюда, – обратился он к жене.

– Скажу, скажу! Да она сама свое дело знает. Мы, знаете, Иван Николаич, всюду свой русский чай с собою возим. Как за границую ни хорошо, но без чаю я бы и недели не выжила... Так уж мы всегда запасец... И чего это на таможах стоит, беда.

– Ну, маменька, завели канитель! Идемте же, пожалуйста! – недовольным голосом остановила барышня красноречие своей родительницы. – Ужасно интересно о ваших чаях да таможах слушать.

– Сейчас, девочка. Иду, иду!

И пошла, действительно. Хорошенький деспот в соломенной шляпке и прозрачном белом облачении по последней моде бессознательно способствовал моим желаниям.

Когда Корзановы, мать и дочь, уехали, мы устроились с Михаилом Петровичем на террасе, и тут, под светлым небом Италии, в тени померанцев и гранат, при звуках песен, мандолин и кастаньет, под которые, там и здесь, кипела живая, страстная тарантелла беззаботных детей юга, за стаканами московского чаю, я услышал рассказ моего приятеля, до того фантастический, что, признаюсь, я склонен был ему не верить, пока... пока тот самый *странный* случай, о котором я говорил на первой строке моего рассказа, не запечатлел его правдивости.

Вот суть рассказа Корзанова.

Года три тому назад, вскоре после несчастной смерти Мацевича, умерла и графиня Ляхотинская. Умерла она мученической, страшной кончиной! Агония ее одна продолжалась, можно сказать, целый год. Многие были уверены, что она сошла с ума. Корзановы и сами держались такого мнения, пока не убедились *на опыте*, что мучившие ее видения были не совсем вымышлены... Надо сказать, что задолго до болезни графиня вдруг потеряла сон. Она совсем перестала спать. Целые ночи она, как тень, ходила по своим комнатам, и вскоре прислуга стала замечать, что она все что-то высматривает, чего-то будто бы пугается, сторонится кого-то и, наконец, с кем-то громко говорит. Говорит гневно, со злобою, с отвращением в голосе. Она лечилась усердно, ничего не жалея на докторов, живя то в Париже, то в других европейских столицах, нигде не находя ни облегчения, ни покоя.

И странное дело! Не доктора ее, – а она докторов уверяла, что сходит с ума, что она сумасшедшая. В последнее время пребывания ее за границей она так начала неистовствовать, что домовладельцы отказывали ей в квартире; несмотря на щедрую плату, прислуга не хотела ей служить. Дошло до того, что приходилось ее свезти в сумасшедший дом, как вдруг она успокоилась и объявила, что уезжает в Россию. Накануне этого решения горничные ее подглядели целую пантомиму, разыгранную ею в уединении ее спальни. Прежде она мучила горничных, требуя присутствия их при себе днем и ночью, вероятно думая, что оно устранил преследовавшие ее галлюцинации; но когда убедилась, что это не помогает, что она продолжает видеть скрытые от других вещи, которые, по-видимому, даже становились грозней и неприятнее, если она бывала не одна, графиня перестала заставлять прислугу возле себя дежурить. И так, горничные подсмотрели в замочную скважину все, что делалось с несчастной их госпожой. Они уверяли, что она сначала сердилась, топала ногами, замахивалась, будто прогоняя кого-то; потом словно с кем-то боролась, словно кто-то невидимый одолевал ее, повалил, и начала она задыхаться, хрипеть, будто ее душили. Наконец, стало очевидным, что она смирилась, молит о чем-то, в чем-то обещается и со страхом следит, как бы за удалением кого-то... На другой день, рано утром, она отдала приказ собираться в обратный путь и через неделю была уж в своем имении. Сначала она будто бы успокоилась; даже сон, давно ею невиданный, в первый дни пребывания ее в Ружаном-Лясе благотельно успокоил нервы несчастной старухи. Всякий день она служила заупокойные службы по своему убитому управляющему; поставила над ним мраморный крест с распятием, сделала великолепную решетку, обеспечила его двоих детей, каждому из них подарив по 50000 р[ублей]; сделала вклад в местный костел на вечное его поминовение, одним словом, в память

пана Мацевича было сделано все, что возможно, гораздо больше, чем графиня сделала в память родной дочери, умершей, вскоре после отъезда ее, в 54 году, из Ружаного-Лясу.

Вероятно, главным нарушителем ее покоя именно он и был, и все эти заботы об упокоении его души и благословении присных его умиротворили беспокойный дух бывшего ее клеветы, потому что Ляхотинская, казалось, успокоилась. Но недолго! Вскоре она начала болеть, слегла – и новые видения снова стали ее мучить. К этому присоединились еще прежде небывалые явления.

Прежде одна видала и слышала присутствие и речи своих неведомых мучителей; в старом, громадном, пустынном доме ее предков вдруг начали происходить такие странные вещи, которые разогнали из него всех, кто мог уйти. К несчастью графини, времена крепостничества прошли: она не имела возможности не отпустить желавшей уйти прислуги, а потому почти всегда оставалась чуть не одинокой в своем огромном доме, который, казалось, по мере выселения из него живых жильцов, населялся и переполнялся обитателями пока ей одной видимыми, но слышными теперь уже для многих. В самом деле, случайные посетители, слуги, даже мимо проходившие или проезжавшие люди, то и дело бывали свидетелями самых удивительных, ничем не объяснимых явлений. То в самую глухую полночь появлялись огни в нежилых парадных покоях; иногда свет был так ярок и продолжителен, что в соседстве все думали, что графиня Ляхотинская по примеру прежних лет задумала задать пир. А в другой раз огни только вспыхивали, как пожар, пронеслись по всем запертым наглухо залам и исчезали. То вдруг ни с того, ни с сего разом отворялись двери, словно для приема гостей. В нижнем этаже, где скромно поселилась хозяйка этого палаццо, явственно было слышно их хлопанье, щелканье замков, движение мебели; а порой над больной ее головой поднимался такой содом, раздавались такие крики, визг, хохот и топот, что люди разбежались в ужасе. Им приходилось платить неслыханные жалования, да и то они менялись беспрестанно. Мало кто выживал в замке более месяца. Постепенно необыкновенные вещи начали поражать не только издали слух и зрение всех посетителей Ружаного-Ляса, но и переходили, так сказать, в область действительности осязательной. То ручки в дверях самой комнаты, где лежала больная, начинали с силой и стуком ходить взад и вперед, грозя изломаться без всякой видимой причины; то раздавались явственно шаги, шорох и кто-то невидимый подходил к присутствовавшим. То воочию перевертывались листы книги. Порою даже люди стали видеть в доме разных лиц, которых в неведении своем принимали за живых, незнакомых им особ, и приходили в ужас, убеждаясь лишь из разговоров с другими, что они видели *нечто* более, даже необычайное, чем были бы посторонние посетители графини в это печальное время...

Вот тут-то Ляхотинская ударилась в ханжество! Тут-то оставленная всеми на произвол своих таинственных мучителей, безвредных и даже редко видимых для других, но для нее одаренных властью не только смущать ее своим появлением, но грозить ей и терзать по своему произволу, – тут-то обратилась она за помощью к Богу, к Его Церкви. Дом святили, пели то и дело молебны, служили панихиды, вынимали частички за упокой множества умерших, память о которых давно изгладилась у всех. Надо думать, что и графиня Ляхотинская о них не вспомнила бы, если б они ей о себе не напоминали... Но, увы! Ничего не помогало!.. Напротив. Чем более усердствовала графиня, тем хуже разыгрывались, словно ей на смех, до того дерзкие явления, что священник (тот же кроткий отец Василий, что был и при мне) со страхом шел на ежедневный призыв той, которая во всю прежнюю жизнь никогда не считала нужным обращаться к силе православных молитв. Не за себя он боялся, а за священные предметы, которые нес с собою в этот *обреченный* дом!.. Ему давали право бояться за них рассказы всех и самой хозяйки: она звала его собственно затем, чтоб отстранить от нее святой водой и молитвой церковной совершенную невозможность молиться, в которую она сама была поставлена хозяйничавшею вокруг нее силой. У нее никогда не могли гореть лампы пред образами: едва зажженные – они тухли сами собой, – их будто что-то заливало и засыпало. Едва она бралась за молитвенник и Евангелие, – листы их переворачивались, словно дул на них вихрь; книги захлопывались. Между нею и ими что-то ложилось густою завесою, если это было днем, а если вечером, – то лампы и свечи, ни с того, ни с сего, вдруг потухали.

«Я не могу молиться! – в отчаянии отвечала она на все увещания священника. – Не могу, понимаете? *Хочу*, но не могу! *Мне не дают*. Что мне делать? Научите!..» Что мог ей сказать бесхитростный от[ец] Василий?.. Он сам приходил в ужас и терялся среди этих наваждений.

– Это была мученица в последние годы жизни, – говорил мне Корзанов, оканчивая свой страшный рассказ. – Действительная мученица! Ты знаешь: я не любил ее! Все мы знали, что она не добрая женщина, что много за нею грехов; но в последнее время она, я уверен, искупила многое. Нельзя было не жалеть ее!.. На наше несчастье, нам пришлось в последнее лето ее жизни приехать в свою деревню. Она тотчас же прислала за нами, и волей-неволей мы должны были посещать ее... Но это, я тебе скажу, брат, были своего рода подвиги! Не только христианские, но и геройские...

– Будто бы? Неужели и вы видели какие-нибудь чудеса?

– Спросил лучше: каких чудес мы *не* видели! Когда я теперь вспоминаю о том времени, мне просто кажется оно какой-то галлюцинацией! Я думаю, что я так бы себя в том и уверил, если б кроме меня не было свидетелей.

– И жена твоя слышала что-нибудь?

– Слышала? Она не то, что слышала только, – она и видела и узнала!

– Кого, Бога ради?

– Помнишь ты эту женщину, что нашли умершей с ножом в руках, под самым парком?

– Кормилицу?.. Как же! Так что ж?.. Неужели жена твоя ее видела?

– Своими глазами!.. Она увидела ее в конце коридора в сумерки около бывших девичьих и, ничего не подозревая, окликнула ее. Женщина эта обернулась и представилась ей как живая! Совершенно такой, какой ее помнила Саша. Но, может быть, она и не узнала бы ее после стольких лет, если б не ее искаженное страданием лицо и не нож, который она прижимала к груди...

– Нож?.. Господи помилуй!.. За гробом нож?.. Да не померещилось ли Александре Владимировне?..

– Померещилось?.. Нет, брат. *«Женщину с ножом»* не раз видывали в этом доме: она была в числе самых частых посетителей тетушки... И наконец, с чего бы мерещиться ей? Она о ней никогда и не думала, знала ее только живою, но не видывала, как мы с тобой, мертвой под стеною парка, а только слышала рассказы о ее ноже... Увидев ее, она тотчас ее узнала и вспомнила... Мы сейчас же велели о ней панихиду отслужить и крест на могиле ее поставить.

– И что ж, помогло?.. Успокоилась? – спросил я не без недоверия в глубине души к разумности моего вопроса и нашего разговора вообще.

– Не знаю. Может быть... *«Кормилицы»* больше, кажется, никто в замке не видывал после этого случая. Жена такого страху набралась, что едва не заболела сама. Такая мне тогда с ней напасть была! Не хотела уезжать без меня: боялась. И со мной в этом доме оставаться не хотела; а между тем старуху невозможно было оставить, она умоляла нас не покидать ее и, очевидно, последние дни доживала. Еще хорошо, что Сашечка наша тогда у моего брата в подмосковной гостила. Она ничего об этом и не знает. Мы с женой ей никогда не рассказывали...

– И прекрасно сделали. Скажи, пожалуйста, однако ж, неужели там, в Ружаном-Лясе, и по сию пору творятся все эти страхи?.. Или... Да, ты, кажется, сказывал, что дом сгорел?.. С чего же такой каменной громаде гореть было?

– Да, вот поди ж ты!.. Это тоже, по-моему, немалое чудо!.. Возьми, что ведь стоял он пустой и заколоченный. Ни одна душа, ни даже сторож во дворе ни за какие деньги жить там после смерти графини не хотели. Как он сгорел? Кто поджег со всех концов эту махину? – это так и осталось неразгаданной загадкой. А мы с женой так просто обрадовались, право! Она так даже перекрестилась... Мы уже и сами задумывали его снести или продать; но пока, знаешь, стоял он – дворец дворцом – совестно было как-то!.. Издали все думалось что-нибудь да не так, пустяки! И зазорно было такое старое, родовое гнездо жидам продавать. Ну, а как остались обугленные стены, так чего же с ними церемониться?.. И продали спекулянтам каким-то... Спасибо, хорошие деньги дали. Сашурка-то у нас, слава Богу, не бесприданница и без Ружано-Лясского дворца! – самодовольно заключил Корзанов.

Мы молчали. Он, вероятно, отвлеченный от своих мрачных воспоминаний мечтами о будущей судьбе единственной дочери, а я занятый размышлениями о только что слышанных чудесах и отчасти новой чудной картиной, которую являло нам море.

Солнце спускалось все ниже к горизонту, и чем ниже оно склонялось к морской пелене, тем яснее становилась даль. Море синело и золотые струи все ярче и красней пробегали по его лазури.

Пурпурный цвет мало-помалу окрашивал окрестность. Город, хижины, рощи и белая терраса нашей третирии пылали. Солнечные лучи, как стрелы, возносились в небо из-за группы клубчатых, золотисто-алых облаков, слегка прикрывших его ослепительный диск. Но вот они растаяли, исчезли... Громадный огненно-красный шар все ближе к морю, вспыхнувшему пожаром. Вот уж он его коснулся... Вот край его зашел за переливчатую зыбь... Пурпурное зарево постепенно бледнеет, переходит в оранжевый оттенок и вдруг, в то самое мгновение, как солнце погрузилось, словно упало в морскую пучину, все окрестности, и самый воздух, и море преобразились – все приняло прозрачно-лиловый цвет. Не сумерки, а темная ночь быстро спускалась на землю... Через залив мерно и звучно доносился звон монастырского колокола – это был призыв к вечерней службе, к Angelus²⁶; а в глубокой небесной синеве одна за другой зажигались и выяснялись яркие, южные звезды, ложась дрожащими отражениями по неоглядной, едва колебавшейся поверхности моря.

– Вот так вечер и вот так ночь! – добродушно прервал мои наблюдения Корзанов. – Не чета нашим бесцветным сереньким сумеркам. Там – мелочная проза, здесь величаявая поэзия! Правду моя Сашурка говорит.

– Не во гневе будь сказано – и Александр Михайловна может иногда ошибаться! – молвил я, улыбнувшись. – Бывают и в нашей стороне всякие поэмы, и драмы, и величественные картинки в своем роде и весьма практические эпизоды... Последние сейчас же доказывали твои рассказы. Что может быть романтичнее таинственных ужасов вашего Ружаного-Ляса.

– О, да! Это правда, и ты напрасно посмеиваешься, говоря это.

– Я посмеиваюсь? Да уверяю же тебя, что и не думаю. Я, напротив, в высшей степени заинтересован... Ты вот что, приятель, скажи мне: прекратились ли, по крайней мере, все эти... наваждения, что ли, когда умерла ваша тетушка?

Михаил Петрович, прохаживаясь вдоль террасы, остановился против меня, заложив руки в карманы, покачнулся раза два с носков на пятки, в упор глядя на меня, и хотя было уж совершенно темно, но он, должно быть, убедился, что я его спрашиваю серьезно.

– Друг любезный! – сказал он с расстановкой, – видишь ли, что я скажу тебе: оно и прекратилось и не прекратилось! Стало лучше и хуже!.. Как для кого, видишь ли ты.

– Ну, этого я уж совсем не понимаю!.. Никогда не был мастером загадки разгадывать. Ты уж расскажи попросту?

– Изволь, постараюсь... Хотя дело-то уж очень не просто. Я сказал тебе, что бедная Прасковья Николаевна кончалась долго и мучительно. Мучительно, и страданиями физическими, и еще более из-за нравственных истязаний, которым ее подвергали ее постоянные видения, страх, который они ей внушали, и ужаснейшая боязнь смерти. Я никогда не видывал более тяжелой агонии! Она была в полной памяти, сознавала вполне, что умирает, что никто не может ее спасти, и, между тем, до последней минуты боролась со смертью: кричала, молила о спасении, о продлении жизни ее хотя бы на один день, на один час!.. Ничего ужаснее не приводилось мне испытывать, как последние минуты у ее смертного одра!.. Жenu я, разумеется, удалил; но меня несчастная все время не отпускала. Меня и отца Василия! Она держала нас за руки, цеплялась за нас, умоляла спасти ее, «отмолить, не отдавать на растерзание!»! Кому? – Мы не спрашивали; но понимали хорошо: она боялась загробных истязаний тех, кого сама замучила при жизни. Это было ужасно!.. Я так измучился, что заболел, было, сам: нервы растрепались! Отец Василий – и тот без ужаса не может никогда вспоминать, а уж на что привык к смертным одрам... Что-то такое она, кажется мне, на исповеди ему уж очень страшное сказала: лица на нем не было, как он ей отпускную читал. И после вырывалось у него иногда этак восклицание, вздох такой тяжелый, и сам он мне говорил, что ежедневно о ней молится, поминает и все это... «Но не могу, говорит, успокоиться духом за нее... Страх, говорит, во мне, когда ее поминаю, а не умиление...» Уж, верно, очень покойница погрешила при жизни, прости ей Бог ее согрешения!.. – прервал сам себя

²⁶ Ангел Господень (*лат. Angelus Domini*) – католическая молитва, названная по ее начальным словам. Состоит из трех текстов, описывающих тайну Боговоплощения, перемежаемых молитвой «Радуйся, Мария», а также заключительных молитвенных обращений к Деве Марии и Богу-Отцу. Молитва читается трижды в день – утром, в полдень и вечером. В католических монастырях и храмах чтение этой молитвы зачастую сопровождается колокольным звоном, который также называют Ангел Господень или Ангелус.

Корзанов, перекрестился и помолчал. – Ну, – продолжал он через минуту, – как-никак, наконец, все кончилось: умерла несчастная. Похоронили мы ее по непременному ее желанию – не на кладбище, – она так его боялась, что даже слышать этого слова не могла! – а в парке, неподалеку так от выездной аллеи, возле цветника... Сама покойница назначила: «Тут, говорила, людней. Я не хочу одна лежать: хочу, чтобы возле меня всегда живые люди были... И на том месте я, говорит, по праздникам бедных хлебом оделяла: может, кто вспомнит, – помолится за меня!..» Ну, мы так ее волю и выполнили свято. Однако, хотя все стуки и прочие там эти явления прекратились, но... когда я через несколько месяцев вернулся в Ружаный-Ляс по делам, чтобы привести все в порядок, осмотреть хозяйство и прочее, я застал опять в доме что-то весьма странное... Так, что когда пришлось приехать туда и жене для ввода ее во владение, то я был рад-радешенек, что отец Василий пригласил нас у него остановиться.

– О?! А что же такое случилось? – с любопытством спросил я, не воздержавшись от восклицания искреннего изумления. – Расскажи, брат, пожалуйста, что же именно ты заметил в твой первый приезд в Ружаный-Ляс?

– Что я заметил? – необыкновенно резко почти закричал Корзанов, остановившись передо мной в упор. И близко придвинув лицо свое к моему, так что я ясно видел его нахмуренные брови и блиставшие возбуждением глаза, вдруг понизив голос, прошептал. – Ее я заметил, да! Ее самую! Прасковью Николаевну. И видал я ее, и слышал!

– Слышал?.. Что ж ты слышал? что ж говорила?

– Немного... «Нет мне покою! нет спасения!..» Да! – снова закричал, будто бы рассердившись, Корзанов. – Ночью я голос ее слышал, он разбудил меня... «Нет спасения! нет покоя!.. Истребления, говорила, нет мне!.. Я хочу истребления!» Так с этим словом все будто и замерло вдали. Умирать буду – попу скажу: слышал! слышал ее слова: «Истребления! истребления!» Как стон, самый отчаянный, пронесся голос ее по всему дому, а потом...

Корзанов вновь, будто успокоившись, заговорил тише:

– А потом, на заре, я ее самую видел.

– Ее! В самом деле?.. Где же? Как?

– Нет! Уж баста, любезный. Будет! Довольно!.. – Михаил Петрович опустил в кресло, отдуваясь, словно после утомительной работы. – Довольно об этом наговорились. И то, пожалуй, ночь спать не буду. Это ведь не сказки, которые расскажешь, да и забудешь... Упокой, Господи, грешную душу ее! А говорить о ней я закаялся! Только вот для тебя рассказал... да и раскаиваюсь!.. А вот, кажется, и мои возвращаются!.. Вот и прекрасно!.. Пойдем навстречу.

Корзанов встал и пошел вниз по мраморной лестнице и в цветник к маленькой пристани, куда причалила лодка. При свете звезд и фосфорическом мерцании моря он узнал своего кумира прежде, чем долетел до нас ее звонкий смех и восклицание:

– Ну, папочка, сколько мы тебе редкостей накупили!.. Целую корзинку. До завтра не осмотришь! Пойдем скорей.

И стройная, свежая фигурка отделилась от мостков, легко спрыгнула на землю и чуть не бегом, схватив отца за руку, потащила его в ярко освещенную залу. На террасе она едва меня не задела пробегая.

– Ах! Это вы?.. Извините!.. Ну, что? Воображаю, как подробно рара²⁷ вам о всходах овса и конопли рассказывал?

И *papa* добродушно смеялся, едва поспевая за нею и уж совершенно забыв тяжелое впечатление своих воспоминаний. За ними грузно вздымалась и мама, тоже смеющаяся и тоже совершенно счастливая в своем бессознательном повиновении к их общему кумиру и бесконтрольному деспоту.

На другой день мы расстались, и с тех пор судьба еще нас не сводила.

Зато она нежданно-негаданно привела меня следующей весной в окрестности Ружаного-Ляса. У меня оказалось дело по службе в том местечке, где мы стояли во время Крымской кампании. Понятно, что я навестил отца Василия. Я нашел в нем такого же деятельного, энергичного человека, каким он был в молодости. Он далеко не смотрел таким стариком, как его

²⁷ папа (*фр.*).

сухощавая, сморщенная, маленькая супруга, словно будто подсохшая в хозяйственных хлопотах, которым она немедленно предалась, как только признала меня за своего старого знакомого и усадила на крыльчке в ожидании чайной благодости. Нечего и говорить, что я очень скоро навел речь на интересовавший меня предмет. Отец Василий задумчиво поглаживал свою окладистую бороду, выслушивая мои вопросы и рассказ о встрече с Корзановыми, и хотя ничего не отрицал, но, видимо, не желал разговаривать об этом предмете. Я спросил:

– Как теперь? Тихо ли? Или и ныне что-нибудь водится?

– Нет... Теперь, слава Богу, ничего не слыхал. Впрочем, там теперь столько народу, такой еврейский кагал, что нет ни времени, ни места никаким проявлениям какой бы то ни было силы, кроме силы колес и пара...

Священник улыбался, говоря это, но в его серьезных, задумчивых глазах не было шуток. Его сдержанность меня подстрекала расспрашивать его настойчивей. Я выразил недоумение, почему он так скрытен.

– Не скрытен я, Иван Николаевич! – отвечал он, наконец, приневоленный моей настойчивостью. – Да и что скрывать то, что всему околотку, всему даже краю известно?.. Были темные дела, что говорить! Всяко бывало, – да приятно и нужно ли поминать об этом?.. Благодарение Господу, что прошло! Жизнь людская и сама по себе тяжела и переполнена печалью да опасностями; а уж как еще, не дай Бог, заведется эдакое что-нибудь... не совсем понятное, так и вовсе несносна становится. Такие искушения страшны паче всяких зол человеческих, потому что пред ними человек беззащитен... Я без ужаса вспомнить о том времени не могу! А зачем же рассказывать?.. Праздные слова тут вовсе не годятся, по моему разумению.

– Но почему же праздные, отец Василий? Мне кажется, такие проявления из ряду вон очень полезны в том отношении, что их распространение утверждает веру в жизнь загробную и в возмездие...

Я не закончил, потому что заметил устремленный на меня полуудивленный и полунасмешливый взгляд священника, и мне стало неловко.

– Я с вами не могу согласиться, – возразил он спокойно. – В Писании, да и в самой жизни, многое гораздо действительнее, чем такие необычайные случаи, должно утверждать человека в бессмертии души и воздаянии за грехи наши. А эти так называемые сверхъестественные вещи напротив неблагоприятно действуют... Начать с того, что какой бы веры достойный свидетель ни передавал о них, – большинство, не влагавшее персты свои в раны, им не поверит. А кто и поверит, может относить их... к чему другому, не к Божией силе...

– Вы думаете, что такого рода явления происходят не по воле Божией?

– Нет; я думаю, чтоб без соизволения Божия ничто, нигде не творится; но недаром на них существует в народе очень меткий термин: *попущение*... Да! Мне сдается, что Вышняя воля именно только *попускает* их, а нет в них перста Божеского, прямого участия Его святого промысла. Я, конечно, могу ошибаться, – скромно оговорился отец Василий, – но таково мое убеждение, и, в силу его, я стараюсь забыть эти ужасные дни!..

– Только одно слово, отец Василий! Не рассказывайте подробно, если вам не угодно, но скажите только да или нет: видали вы сами что-нибудь?

Священник отвечал не сразу и с расстановкой, явно показывавшей неохоту его говорить:

– Чему был свидетелем г. Корзанов, – то видал и я. Ведь он сказывал вам, что мы только вдвоем и были до последней минуты возле умирающей... Что ж! Я не скрываю: вокруг нее творились страшные и непонятные явления... Видеть все то, что она видела, мы не видели, – Бог миловал! Но ясно ощущали присутствие чего-то вокруг нас необычайного... Наконец, самое ужасное было, по-моему, то состояние постоянного, безысходного ужаса, в котором находилась умирающая.

– Это были, может быть, предсмертные галлюцинации? Бред?

Отец Василий снова помолчал и отвечал с запинкой:

– Может быть, хотя... она казалась во всем прочем в полной памяти... Во всяком случае, такой бред ужаснее самой страшной действительности. Знаете, – мы лучше оставим это: мне, право, тяжело возвращаться к этому предмету!

Приходилось волей-неволей умолкнуть. Но, несмотря на явное неблагоприличие нарушать желание, столь решительно высказанное, я совершенно невольно воскликнул:

– Несчастливая! Неужели ее опасения могли осуществиться за гробом? Михаил Петрович уверял меня, что слышал и видел ее после смерти... Вы знаете?..

– Он говорил. Я на другой же день по желанию его служил панихиду на ее могиле и окропил святой водою весь дом...

– Надо надеяться, что она... или дух ее успокоился после этого?.. – заметил я. – Положим, она была жестокая женщина и эгоистка, но ведь не преднамеренная преступница! Бывают же и грешнее ее люди?.. За что ж такие истязания?..

В наступающем сумраке мне показалось, что собеседник мой побледнел, так он был глубоко взволнован. Он сказал очень тихо:

– Не нам надо судить... Определять возмездие и меру – не нам!

– Неужели вы сомневаетесь? – вырвалось у меня опять. – Надо надеяться, что она прощена. Не правда ли?

– Надо надеяться... Милосердие Божье превышает всякого греха! – сказал отец Василий.

Но мне показалось, что в голосе его нет убеждения... Я был уверен, что он знал о покойнице более, чем знали мы, и дорого бы дал за то, чтоб он оказался разговорчивее... Но при таких обстоятельствах мне, разумеется, оставалось только умолкнуть или переменить разговор. Я избрал последнее и заговорил о деле, которое привело меня в эти места. Мне по его поводу приходилось побывать в Ружано-Лясском заводе. Я хотел, было, направиться туда в виде прогулки сегодня же вместе с отцом Василием, но не рассчитал по времени. Приходилось отложить прогулку до другого дня, тем более что сумерки сгущались еще наступившей грозой. Весна была жаркая и почти бездождная. Народ ожидал дождей как благодати, а потому было бы весьма с моей стороны неблагоприятно выказывать неудовольствие на грозную тучу, надвигающуюся на окрестность, как черно-сизое покрывало. Не успели мы окончить первых стаканов чая, как ослепительная молния разорвала тучи и сильный удар грома потряс все окрестности. Я, было, собрался уходить, пока дождя, к себе на почтовую станцию, но гостеприимные хозяева и слышать не захотели об этом. Зачем рисковать промокнуть до костей? И что мне делать одному на станции?.. Не лучше ли оставаться у них поужинать, чем Бог послал, переночевать в моей прежней комнате, а на утро продолжать свое дело?..

– Я сейчас пошлю работника с повозкой на станцию за вашими вещами, какая у вас там поклажа? Чемодан, что ли?.. Ну, вот и прекрасно! – решил отец Василий. – Его отсюда доставят в минуту!.. Не угодно ли в горницу перейти? Тут сейчас все зальет... А завтра, после грозы, утро славное будет, я сам с вами с удовольствием прогуляюсь до завода. Кстати, если угодно, на могиле графини панихиду отслужим... Это лучше, чем праздно о ней поминать. Я же, правду сказать, давно там не был, все больше за обедней покойницу поминаю.

Страшный удар грома заглушил слова священника. Он поспешил распорядиться за моей поклажей, а мы с женой его перешли в скромную «чистую комнату» его маленького жилья. Я, было, совсем забыл о том, что графиня Ляхотинская погребена возле бывшего своего дворца и заметил это попадье.

– Как же! – по-прежнему словоохотливо заговорила она, подавая мне другой стакан чаю. – Как же! Не захотела в соседстве со своим приятелем и помощником во всех добрых делах, паном Мацевичем, лежать!.. Ни-ни!.. Да и с другим-то: с ксендзом тоже, слышно, не совсем после смерти ладила ее сиятельство-то! Люди в те поры сказывали, что все разговоры свои ночные, и крики, и брани все больше с ними вела. Ну, право же!.. Ведь у нас тут чудеса стояли!.. И не приведи Господи, что только в палатце графском творилось!.. Каждую ночь, как есть, битвы бывали.

– А разве ксендз тоже умер? – осведомился я, очень довольный, что за отсутствием мужа своего разговорчивая супруга отца Василия успеет рассказать мне кое-что.

– Как же!.. Умер! Тогда же, в скорости как после вас отсюда вышел, схватила его холера, да так-то живо скрутила!.. И покаяться вряд ли успел. Покушал, должно быть, через меру: сластена ведь был, не будь помянут, покойник... Мало кто, кажется, о нем горевал... Любить-то не за что было... Как же! Он в самом костеле схоронен, а управляющего, что собрали от него, – тело-то ведь на куски изрублено было, – под стенкой у костела схоронили. Да!.. Так вот не пожелала

Прасковья Николаевна в их компании покоиться. Положили ее у самого ее парка и памятник богатейший господин Корзанов ей из Италии прислали.

– А когда дом горел, огонь не повредил его?

– Нет, где же?.. То есть деревянная ограда и крест, что временно поставили, сгорели! Дотла сгорели!.. А настоящий-то памятник уж после пожару всего года два, как поставили. Да где? И двух лет нету! Что я?.. Еще только осенью, к Покрову, другой год исполнится.

– Чему это два года исполнится? – прервал нашу беседу о[тец] Василий, к величайшему моему неудовольствию окончивший свои приказания работнику гораздо скорей, чем было мне желательно.

Нечего делать, мы объяснили.

– А, вы все о графине! – качая укоризненно головой и в то же время добродушно улыбаясь, подивился священник. – Далась она вам!.. Бог с ней, право! Чем скорей забудется она людьми, тем лучше... Да простит Господь ей ея согрешения и упокоит душу ея!.. Господи!! – сам прервал себя отец Василий, широко крестясь.

– Господи помилуй! Вот так удар!.. – воскликнула тоже, крестясь, его жена.

В самом деле, громовой удар был страшный. Все мгновенно вспыхнуло, как в пожаре. В домике зазвенели все окна и двери распахнулись сами собой от сотрясения воздуха.

– Это где-нибудь близко упала молния, – заметил я. – Не было бы пожару... На беду дождя, кажется, еще до сих пор нет.

– А вот, слава Богу, начинается, – сказала хозяйка, выглянув на крыльцо и запирая плотно двери в сенца. – Да какой редкий да крупный. Страсть! Ужасная гроза!..

Да! Гроза была необыкновенно сильная. Удары грома следовали, почти не перемежаясь, один за другим и яркие молнии ежеминутно загорались, мгновенно разрывая и освещая зеленоватым, зловещим светом тяжелые, грозные тучи, все будто бы ниже спускавшиеся на притихшую землю. Зато, как только разверзлись они, полились из них потоки дождя, все на земле забушевало, разливаясь водами, словно готовясь к потопу. Едва к полночи прекратился гром и шум ливня несколько затих; зато поднялся страшный ветер. После грозы забушевала буря, не давшая нам до утренней зари возможности спокойно уснуть. Я не спал от свиста ветра, от стука и скрипа ставень и дверей; а хозяева от беспокойства за свои и чужие беды и убытки, которые предвиделись ими вследствие такого необыкновенного урагана.

На заре я заснул, сильно утомленный.

Меня разбудил веселый, добрый голос моего хозяина, звавшего меня по имени. Я открыл с трудом глаза, ни в чем еще не отдавая себе отчета.

– Подымайтесь, Иван Николаевич, пора! Заспались вы после беспокойной ночи: скоро полдень... Тут понятия собрались по вашему приказу; я их туда, на завод, отправил, сказав, что вы сейчас туда прибудете. Вставайте же поскорей!

Я мигом опомнился и вскочил.

– А что, вчерашняя буря не наделала никакой беды? – спросил я.

– Бог миловал! Все благополучно. Так, кое-где заборы да изгороди покривило, да солому с кровель поразнесло. Ну, да это ничего: время летнее!.. Успеет до осени новой соломкой разжиться и покрыться. Больших бед нету!.. Я все местечко объехал: всюду все слава Богу! Я даже удивился!

Отец Василий, видимо, было удивлен и порадован.

Я живо собрался и мы вышли. Ветер подсушил землю, всюду были уже сухие тропки, а утро было великолепное. Поля и нивы зазеленели, леса освежились, и все в природе стало как бы ярче, веселей и красивей. Все ожило новым рассветом, новыми надеждами и новыми песнями.

Пока мы шли по лесной опушке к бывшему дворцу графов Ляхотинских, нельзя было разговаривать: такой стон стоял в яркой зелени от птичьего гама, пения, шелканья и свиста.

– Хорошо у вас! – заметил я отцу Василию. – Я будто бы сам помолодел на двадцать лет и не выезжал совсем отсюда.

– Наши места хорошие! – согласился он. – Вот на счет урожая не всегда благополучно, песчаный грунт. А что местность – красивая! Леса очень богатые.

– Хорошо, что их не рубят.

– Кому же рубить? За ними надзор. Ведь это все, почти под самый парк, Корзановское. Продана только земля, собственно, под господскими угодьями, хозяйственные строения да что уцелело от погоревшего дворца: железо да стены. Из его камней и кирпичей почти что весь завод отстроен.

– Что это? Неужели это могила Ляхотинской? – спросил я удивленный.

Мы подошли к ограде парка. У раскрытой настежь калитки белела каменная ограда, а за ней, среди густой зелени, возвышался надгробный крест.

– О, нет, – отвечал священник. – Вы забыли? Тут похоронена та несчастная, что здесь же мертвой подняли.

– Кормилица? – прервал я. – Да, да! Помню. Царство ей небесное, бедняге!.. Как хорошо поддерживается могила.

– А это уж заботами мужа ее, покойницы. Вернулся он... Вы, чай, помните, что в солдаты его сдали тогда?.. Ну, вот, возвратился он ныне ундером²⁸, с нашивками²⁹, с Георгием! Бравый такой, несмотря на то, что левая рука на перевязи. Попал он на Кавказ; там его татары угостили. Но ничего, – здоров! У меня в церкви первым чтецом числится, на клиросе поет и свечи продает. Так вот он сам как пришел, так крест, который господин Корзанов приказал поставить, заново окрасил и ограду сложил, чтобы скотина не подходила. Хороший человек! Моя жена ему все невест сватает, женить его хочет, а он чурается! Бобылем при церкви век коротать желает. Первым работником считается тоже... За него все хозяева чуть не дерутся, – кому его на полевые работы нанять.

Беседуя таким образом, мы прошли парком в контору завода, где я скоро покончил свое несложное дело. Отец Василий деятельно помогал мне, и мы снова вышли в обширный двор, где залитое ярким солнечным светом кипело рабочее оживленное движение. Из главного корпуса тяжелого, некрасивого здания, заменившего затейливую архитектуру Ружано-Ляского дворца, долетали стук и свист колес и машин; черный дым валил из высоких труб, клубчатыми хвостами расстилаясь по ярко-голубому небу и тая в вышине.

– Не зайдете ли посмотреть на работы? – предложили мне.

Я поблагодарил, отказавшись за недосугом.

– Надо спешить. Я у вас загостился, отец Василий, – обратился я к своему спутнику. – Зайдемте взглянуть на могилу бывшей владелицы – и домой, к вам, а оттуда и в путь. Пора!

– Зайдемте. Но, знаете, я служить на могиле раздумал... Каждый раз при этом случаются неприятности... Простый раз кричали, свистали; кто-то из парка смеялся. Нехорошо! Неблагодарно!.. Уж лучше в церкви отслужу...

– Вот как!.. Памятлив ваш народ на зло, видно?..

– Батюшка! – окликнули нас сзади.

Мы оглянулись. За нами шел мужик-рабочий. Священник остановился.

– Что тебе, Иван?

– Да я... Служить, что ли хотите? – нерешительно спросил мужик своим местным, ломаным языком.

– Нет. А что?

– Да туда нынче народу много ходит: смотрят все... Так, чтобы чего не вышло, как прошлый раз, нехорошего...

Священник вздохнул и покачал головой.

– Вот то-то же: нехорошего!.. А вы бы постыдились этого... Молитву прерывать, – хорошо ли это?.. Эх, эх, Иван! Не хорошо, что из-за вашей злобы помолиться об усопшей нельзя спокойно.

– Да разве я?.. Я бы ничего...

Рабочий переминался с ноги на ногу, уставивши глаза в землю. Лицо его мне показалось знакомым.

– Иван?.. Марианкин брат? – озарило меня воспоминанье. – А мать твоя жива?

Крестьянин живо оглянул меня, но сейчас же снова отвел глаза, проговорив:

²⁸ ундером (*устар., прост.*).

²⁹ То есть в чине младшего или старшего унтер-офицера.

– Жива... Только болеет.

– А вы помните? – изумился священник. – Жива, ничего себе; просвиры выучилась печь, тем и живет. Да вот сын на заводе работает. Он малый хороший! Старуху-мать бережет. Да это что же, в самом деле, народ сыпет?... Никак от могилы?

Действительно, народ шел гурьбою из-за деревьев, за которыми виднелся мраморный с золотом памятник.

– Про то я и говорю, – заговорил Иван, снова вскинув глаза на священника, – много сегодня там всякого народа, потому ночью памятник разбило грозой.

– Что ты говоришь?! Неужели?

И не дождавшись ответа, о[тец] Василий быстро направился к могиле Ляхотинской. Я же спросил Ивана:

– Разбило памятник? Упала молния, верно?

Я вспомнил вчерашний страшный удар и мое предположение, что молния упала неподалеку.

– Упала! – нахмурившись, ответил Иван. – Крест разбило... Пан Буг знает, что не место кресту над *такой* могилой! Другой раз огнем спалился!

Он повернулся и пошел к заводу, а я направился к памятнику, раздумывая о живучести народных недружелюбных чувств к графине Ляхотинской и о странной случайности, которая привела меня сюда именно в тот день, когда гроза разбила ей надгробный монумент... А не странно ли, что молния из всех пунктов в окрестности выбрала именно ее могилу? Вдруг поразило меня соображение... *Странно!*..

Я взглянул вверх. Из-за светлой весенней зелени предо мной выступила бронзовая, золоченая ограда и белый, прекрасно изваянный из мрамора памятник. Его венчал массивный, бронзовый крест; но молния, ударившись в него, растопила и свернула его в какую-то бесформенную массу. Он весь согнулся и беспомощно свесился к краю надтреснувшей колонны... Да, Иван сказал правду: огонь небесный спалил и уничтожил крест на несчастной могиле. Это было *еще странней!*..

Сильно озадаченный, подошел я к ограде, у которой в неподвижном недоумении стоял священник. Но взглянув на него, я изумился еще больше: о[тец] Василий был бледен, а всегда спокойные темные глаза его были положительно расширены ужасом...

Медленно, не поворачиваясь ко мне лицом, будто взгляд его был прикован к памятнику, он тяжело опустил свою руку на мою, а другой указал мне надпись на надгробной колонне.

Вся она почти была уничтожена упавшей на нее зигзагом молнией. Крупные, литые бронзовые буквы были расплавлены и сбиты с места. Уцелели немногие.

– Вглядитесь внимательно! – прошептал побелевшими губами священник.

Я всмотрелся... и вдруг сообразил.

– С нами крестная сила!

Рука моя невольно поднялась для крестного знамения...

Надпись состояла из слов:

«Графиня
Прасковья Николаевна
Ляхотинская».

Первое слово слилось в бесформенную массу. Из имени же и фамилии уцелели некоторые буквы... Именно те, которые я подчеркиваю:

Прасковья Николаевна **Л**яхотинская³⁰.

Эта случайность была *страннее* всех прежних.

Не прав ли я был, говоря, что в жизни бывают *странные* случаи?

³⁰ Сложилось слово: Проклята.